

ОТ РЕДАКЦИИ

Вот тут-то мы вам и покажем, дорогие читатели, как работает писатель настоящий, введенный в русскую литературу еще Чингизом Айтматовым. Речь идет о Георгии Пряхине, публикацию романа которого мы завершили в декабре прошлого года. Казалось бы, завершили... Но подлинный инженер человеческих душ зачастую не в состоянии расстаться с творением собственным — творение это его мучает, заставляет снова и снова браться за перо. Может быть, в такой незавершенности и есть смысл писа-

тельского бытия, непрерываемость поиска как художественного жеста, так и единственно возможного сокровенного слова. Георгий Пряхин по-прежнему в этом поиске. Итоги ли таких исканий перед нами или писательская тропа поведет вновь к неизведанному, неожиданному даже, — время покажет. А пока отрывок из письма Евгения Стародуба, жителя города Ельца: «Роман Георгия Пряхина, мне кажется, требует продолжения... Такого осмысления современности ни у кого не встречал больше...» Согласимся с елецким жителем и дадим слово самому Георгию Пряхину.

Продолжение. Роман публиковался в № 5–11 за 2015 год

Рисунки Марины Медведевой

УХОДИМ. УХОДИМ. УХОДИМ...

Вообще-то, этой главой хотел закончить свое повествование. Но обстоятельства складываются так, что я решил поторопиться. Неизменная подруга, спутница-разлучница человечества с косой — той, что не до пят, а аж до самых корешков, — так раззуделась костлявым своим плечом, что того и гляди — не успеешь. Срежет ненароком, как и не бывало.

А мне хочется успеть написать и о них. О невозвратно потерянных своих. Число попаданий, или пропаданий, в последнее время так участилось, как то, наверное, и бывает по мере приближения к линии фронта. А она, увы, не за горами: мне и

самому идет шестьдесят девятый год... А среди потерянных, к вящему несчастью, есть и такие, о ком, кроме меня, и вспомнить-то практически некому.

Впрочем, та, что с косой, как я только что понял, способна принимать и совсем неожиданные обличия.

Под утро того, совсем недавнего дня, когда мой, по большому счету предпоследний друг своими ногами пошел на, в общем-то, почти пустяковую по нынешним временам операцию, мне приснился очень тягостный сон, после которого до самой ночи, а если точнее, до следующего

утра что-то угрюмо давило на сердце. Как будто и вправду придавили камнем что-то еще живое.

А сон такой.

Сидим мы, несколько близких мне людей. Не посылелки, не застолье. Бог знает зачем собрались вместе, и каждый, я во всяком случае точно, не в своей тарелке. Какое-то тягостное и молчаливое сидение, причем на голой деревянной лавке и за голым и ободранно пустым столом. Все вроде действительно знакомые или смутно знакомые и только один — совершенно, неприятно чужой. Он вовсе не старикашка. Средних лет, даже помоложе всех нас. И вовсе не костляв — поджар. И даже элегантен, если бы не одно но. Да, бледен, но не так уж бледнее каждого из нас, сидевших вокруг него. Но волосы... Невероятно ухоженная прическа — такие чубы когда-то звались наплоенными. Выложена на узкой голове и над в меру высоким лбом, как искусно и бережно выкладывают, выдавливают крем на торте. И при этом белее любого крема, белее любой бумаги, даже верже. И совершенно безжизненные. Если дотронуться, седина захрустит, как бумага. Такое ощущение, что они, волосы, из папье-маше. Скорее всего, абсолютно полого внутри. Волосы и притягивают взгляд, и вместе с тем доставляют ему, взгляду, прямо-таки физиологический дискомфорт. Да и все мы не в своей тарелке именно потому, что между нами затесался этот тип. Этот безмолвный, отрешенный, равнодушный ко всему и ко всем нам чужак в светло-сером, ладно, по фигуре скроенном цивильном костюме сегоднешнего клерка средней руки. Не помню, к кому же из нас конкретно он ближе всего и сидел. Может быть, и к Володе. Тому, кому и предстояла злосчастная операция...

Идучи в операционную, друг мой, к слову, даже позвонил мне. Обратился с просьбой, связанной с его детьми и женой. Я, зная, что двумя неделями раньше ему уже делали здесь же точно такую операцию — стентирование — на другом сосуде и что она тогда прошла вполне рутинно и благополучно, в спешке — собирался на работу — и непростительно буднично пообещал, что просьбу его постараюсь выполнить. И бросил на прощание:

— Ладно, с Богом...

Совершенно не распознав сна.

Знал бы, что с этим самым Богом он встретится уже сегодня, ровно в шестнадцать часов.

— Ты не звони мне, — тихо сказал на прощание мой друг. — Я же буду в реанимации и трубку взять не смогу... Потом сам позвоню.

— Хорошо, — ответил я.

Но именно в шестнадцать я ему все-таки позвонил.

Он действительно не взял трубку.

Перезвонил ему поздно вечером. Опять длинные гудки. Может, спит? Или отключил телефон, чтобы не беспокоить соседей по палате? А может, все еще в реанимации?

Позвонил ему и в восемь утра. То же самое. Может, обход?

А на сердце что-то давило. Физиологический дискомфорт так и не проходил.

В десять утра мне позвонила его жена, теперь уже — вдова.

Камень с сердца сразу отвалился. Я сразу его, встрепенувшееся, почувствовал. Голое, ободранное, оно прямо-таки разрослось, забилось окровавленными крыльями в тесноте моей грудной клетки.

Так вон кто затесался между нами!

Смерть неожиданна, потому что многообразна, — писал когда-то Марсель Пруст.

И неузнаваема, потому что многооблична, — добавил бы я сейчас...

Мои друзья и мои же потери...

* * *

Началось это давным-давно, еще в раннем детстве.

Родных бабок я в живых уже не застал. В живых застал, самым кончиком сознания, только родную прабабку. Но жила она не с нами, в другом селении, видел ее изредка, да и то уже парализованную, за занавесочкой, потому и смотреть на нее боялся, избегал. Да никто и не пояснял мне, малому, лет пяти, что эта во всем моем тогдашнем и тамошнем окружении — единственная родная. Не считая, конечно, матери; да я в том, чужом, селении и бывал, как правило, без матушки. Никому из взрослых и в голову не приходило что-либо мне, путавшемуся в ногах, объяснять. И время к тому же суровое, послевоенное, сиротское. Я бы сказал — безродное: по количеству вдов, сирот и просто брошенных и позабытых. Как мертвых, так и живых. Лишь много-много позже, не просто взрослым, а почти пожилым уже человеком, я вдруг однажды, на досуге, дотумкал: а ведь та, изредка, краешком глаза и сознания, почти что в младенчестве виденная мною «лежачая» — и потому еще, наверное, словно в игольное ушко продетая, бесплотная, почти что бестелесная (и цвета суровой нитки) старуха — моя родная!

И вздохнул — так плохо я ее в свое время рассматривал и запомнил...



Двоюродных же бабок несколько. И больше всего меня привечали две из них: бабушка Меланья, что жила в нашей же Николе, только в другом, не овечьем, а садовом, зеленом ее кутке, и бабушка Мария — она-то как раз и проживала в том самом, чужом, пойменном и виноградном, отличающемся от нашего, как различаются, наверное, ад и рай, селе, куда меня привозили иногда отъезжая, соков поднабраться, да и просто чтоб хоть на время от меня отдохнуть.

У бабушки же Марии имелась родственница, по-моему, невестка, Федора, у которой подрастал сынок, мой ровесник. У него было литературное имя: Валек, что я тоже понял значительно позже, когда прочитал, кажется, «Детей подземелья» Владимира Короленко: так, по-моему, звали там цыганского мальчика. Пан Тыбурций и сын его Валек...

Мой сверстник тоже похож на цыганенка. Пошел, видимо, в мать. Наши, Рудневы, белотелье, сдобные. Федора же — с узкими «цыганскими» щиколотками, со смоляными, вощеными, как будто их для усмирения еще и нефтью смазали, во-

лосами, с огромными, черными же, но при этом очень быстрыми, подвижными глазами, в которых даже белки казались двумя сперва облупленными, но потом еще и испеченными яйцами, столько в них, белках, темных родимых пятнышек. Порывистая, говорливая, легкая в ходу и в работе.

И мальчик тоже легкий, шустрый, чернявенький, его тоже только что как будто бы если и не из печки вынули, то из трубы уж точно. Я подружился с ним. Зимой на каникулах мы вместе барахтались в снегу, катались взапуски на самодельных санях и лыжах, которые дед, бабки Марии муж, колхозный плотник, тоже смастерил нам из гнутых ребер разошедшей бочки.

А весной приехал — мальчика нету. Вообще нету. Нигде. На белом свете — нету. Умер. Воспаление легких. И снесли его, махонького, невестомого, с длиненьким и еще не окостеневшим носом, на тот самый косогор, с которого мы и сваливались с ним зимой на санях и лыжах. Я не мог взять в разум — как это: совсем нету? И я его уже никогда-никогда не увижу?! Сняли с белого света, как чья-то невидимая, властная рука снима-

ет с телеграфного провода только что сидевшую там и что-то передававшую нам сверху птицу.

Я онемел от ужаса.

Но главный, совсем уже всеобъемлющий ужас подоспел ко мне к вечеру.

Вечером, узнавши о моем приезде и наскоро управившись со скотиной, к моей двоюродной бабушке прибежала Федора. Мы как раз ужинали. Сбросив наспех ватную стеганую фуфайку с подвернутыми и залитанными теленком рукавами, обшлагами, Федора молча прошла к столу и села прямо напротив меня. И, опять же молча, в упор, уставилась на меня. Бабушка налила и подвинула к ней тарелку, подала ложку и хлеб, но Федора сидела как заговоренная. Даже к куску не притронулась. Смотрела и смотрела — на меня.

Я тоже, оторвавшись от еды, взглянул на нее.

Это была совсем другая, чужая тетка.

Выбившиеся из-под полушалка волосы лишились нефтяной своей вощности, сухие, ломкие, перегоревшие. Глаза мало что провалились, дна не достать, но — странно остановившиеся. Горят, не мигая, бездымно и сухо, как горит в печи черный, до самого скелета проспевший степной курай. Я заметил, что и бабушка стала относиться к ней как-то иначе, по-новому, не так, как раньше, не по-свойски, не свысока, без родственного насмешливого задора, а так, как относятся к увечным. Или — к тронутым. Даже меня, защищая от ее воспаленных глаз, мал-мал отодвинула от невестки. На всякий случай. Пыталась заговорить с нею на какие-то отвлеченные темы, но та ее не слышала.

Кусок мне в рот не полез.

Мне говорили, что я очень похож на ее Валька. Такой же чернявый и носатенький. Теперь мне, мешкотно застывшему за столом, под висячей керосиновой лампой, не только разом вспомнилось это — чему я раньше не придавал никакого значения, — но, кажется, вмиг стал понятен и этот, тронутый, взгляд.

Почему не ты?! — это, мне кажется, страстно вопрошали и ее глаза, и вся ее фигурка с резко, как у враз выплывшего курая, выплывшимся скелетом.

Почему не я?

Она теперь приходила каждый день и подолгу, молча и требовательно глядела на меня. Бабушка Маня, взявши меня за плечи, потихоньку подталкивая коленом под задницу, вводила от нее в сторонку. Но Федора через какое-то время вновь оказывалась, как зеркало, что в известный час подносят к чужим перегоревшим устам, передо мной. Нитка — за иголкой.

Мне кажется, меня даже увезли в тот раз до-мой раньше срока.

Той же весной Федору бросил муж.

Жизнь (или смерть) открыла счет, и счет этот не раз предъявлялся лично мне...

С тех, почти незапамятных лет, и закрутилось.

* * *

Смерч смерти бешено вращается вокруг каждого из нас, то, как отдаленная гроза, ходит дальними кругами, то приближается к самому горлу. Пытаешься в панике ухватиться, а только обламываешь, как в полынье, опору под руками. В четырнадцать лет я уже потерял мать, которой и было-то от роду всего сорок пять. С течением времени ускоряется, похоже, не только жизнь, но и смерч тоже. Я бы не сказал, что он слеп. Клокочущая воронка его иногда мне кажется очень уж прицельным стволом, крайняя плоть которого тоже расплющилась «розой» от сумасшедшей частоты стрельбы.

Мне доводилось, и не раз, хоронить сразу по два гроба близких мне людей.

Выпадало хоронить десятки и даже сотни. Во-век не забуду, как в Ленинакане перед каждым домом, словно перед пристанью, с уже обрубленными канатами, уже готовыми к отплытию, свежестругаными челнами стояли гробы, гробы, гробы... А в Спитаке, где не было уже не то что ни одного дома, а и ни одной уцелевшей стенки, погибших, раздавленных сносили на стадион, потому что только здесь не было руин, камней. Стадион ведь не что иное, как слегка облагороженный пустырь. Ни один стадион мира не знал таких воплей и такого молчания, как спитакский спортивный пустырь в декабре 1988-го. Как поименовать тот матч, что разворачивался на этой скорбной арене на моих глазах и с моим посильным участием?

Нет, не жизни и смерти.

Страха смерти и желания — умереть.

Особенно — когда матери узнавали под простынями и пододеяльниками малых своих.

А самый страшный плач — безмолвие, потому что многих и многих в Спитаке и оплакивать было некому.

Некоторых гробов я не видел. Мой интернатский дружок, сын библиотekarши, и сам под завязку набитый книгами и фантазиями, поступил тем не менее в Орджоникидзевское военное училище и подорвался на учениях. Причем подорвался, закрывая своих же сокурсников, — похоже, это был едва ли не первый их выезд «в поле» с боевыми зарядами. За что и был удостоен, посмертно, ордена Красной Звезды. Гроб, конечно же,

был, но я не знаю, что же положили в него: орден к тому времени еще не подоспел. О Сашиной гибели я узнал задним числом и в первый миг просто остолбенел. Невозможно было представить неживым, а тем более разнесенным в клочья этого насквозь живого, пульсирующего, прыскающего от избытка какой-то полоумной доброжелательности — по ночам в интернате таскал нам, вечно голодным, в спальню из кухни хлеб, хотя сам к нему потом и не притрагивался и в дележке участия не принимал, — и фантазий книгочочья. И еще невероятнее представить его мать, которую я знал, потому что однажды гостил у них в деревенском доме, махонькую и молчаливую, как птичка, которая поет, и то коротко, только при выходе солнца. Одних книги научают говорливости, других замыкают в молчании. Теперь библиотека для нее вообще станет склепом... Есть такие монахини — молчальницы.

Хоронил друзей и даже подруг — кого-то провозжали с почетным караулом, со стрельбой и речами, а двое — Тамара Войнова, с которой начинал когда-то в Ставрополе в «Молодом ленинце», и армейский мой дружок Валерка Иванов, — свезены молча, неоплаканными, как безродные и блаженные, за церковные оградки. Тамара погибла при «Норд-Осте», ее и опознавать было некому, до меня дозвонились задним числом, я оказался далеко, пришлось мне просить моего старшего зятя Диму, который тоже хорошо знал ее. Вконец обнищавший же в «новые времена», хотя в старые был высокооплачиваемым и высокостребованным химиком-аппаратчиком (есть просто аппаратчики, как правило, бестолковые и бесполезные, а есть весьма толковые и полезные — химики-аппаратчики), полупарализованный после инсульта и отбившийся от семьи, Валерка под занавес прибился к какой-то баптистской секте; она и призрела его по кончине при своей полуполигальной молельне где-то в крымском городке с нерусским, с сегодняшнего дня грустно известным именем Армянск.

Тамара же лежит на границе Московской и Смоленской областей при большом, настоящем храме — такая запоздалая почесть была воздана проворонившими «Норд-Ост» властями тем, чьи тела остались «невостребованными».

Подождали-подождали, да и развезли — поближе к Господу Богу.

Так что есть среди моих покойных друзей и двое безусловно «божьих людей», одна из которых, боюсь, даже умирала отчаянной атеисткой. Аня Могилат — я когда-то уговаривал ее сменить

фамилию, но она сказала, что от отцов не отказываются. (Отец ее, к слову говоря, был помощником председателя партконтроля, «стального», но со вполне человеческими нервами, Арвида Пельше.) О ее смерти я узнал очень поздно и даже на могиле ее пока не побывал.

Хоронил и тех, кому и умирать нельзя было, так много долгов оставалось у них на грешной нашей земле. И тех, кто никому на свете не должен — скорее им должны — и кто уже по своему положению непременно должен был выйти в должители, так усердно опекала их властная наша кремлевская медицина. Тот же Гена Селезнев, мой друг и редактор по «Комсомольской правде», которого впоследствии не испортили и самые высокие должности в государстве, но которого до сроков свела в могилу то ли все та же кремлевская медицина, то ли просто судьба.

Гена Селезнев, умирая, будучи уже в бессловесной коме, все же сумел коснеющей рукой, изменившимся до неузнаваемости почерком на клочке бумаги, как на полях сознания, начертать: «Всембольшойпривет». Почему-то слитно — так, слитно, выходит стон. Всем — стало быть, и мне.

И вот только что похоронил человека, который и так давно уже жил не на земле, а в лучшем случае — на небесах.

Жил не на земле, высоко над нею, а теперь ему продолжать, вечно, глубоко — в ней.

* * *

Спервоначально увидел его почерк. Несуразно разлапистый и ветвистый. Его буквы как будто сидели на невидимом заборе, расхристанно свесив не то ноги, не то ветви. Так поздней осенью на какой-нибудь южной стенке, сокрытой доселе сперва зеленой мглою, а потом мглою цвета ветреного заката, вдруг прорисовываются, вылезают, как при варикозе, бесстыдно и беспорядочно, корявые, ржавые вены.

Мне приходилось преобразовывать его мазню — это даже не курица лапой, а вилами по воде — в четкие и даже в меру духоподъемные тексты.

Я вынужден был не только переделывать, но еще и самолично перепечатывать их на машинке, чтобы снести потом по начальству дальше.

Районная газета всегда испытывала недостаток в «сигналах с мест», а тут письма приходили из самого что ни на есть «спода», и писала их не какая-нибудь неугомонная пенсионерка, учительница или библиотечарша, их писал тракторист.

Этот «спод» величался тогда «передним краем», и письма писал, стало быть, самый крайний.

Тракторист! — может, потому и буквы его вылезали, как жалкие, заморозками траченные всходы.

Мне надлежало придать им соответствие моменту (что не помешало текущей тогда семилетке закончиться очередным провалом) — так его дикий, выходящий, действительно подзаборный виноград моими скромными стараниями превращался в патуку.

Но вот что странно. Мальчуг писал, сигнализировал так, будто точно знал, что нужно моему недружелюбному начальству.

Взмет зяби.

Уборка урожая — в том числе, без шуток, винограда, поскольку обретался крайний в нашей виноградно-знаменитой Прасковее: это тот случай, когда «край» и «рай» почти рифмуются.

Зарисовка об ударнике коммунистического труда — в те времена любая работа величалась трудом, а любой труд подразумевался коммунистическим, хотя за него, в отличие от нынешнего, капиталистического, еще платили деньги.

Тракторист, подлец, так и озаглавливал свое письмо: «Заметка», «Зарисовка»...

Не просто крайний, а еще и продвинутый!

Топорные же произведения усиливались подписью: «Владимир Фролов, тракторист».

Тут все не говорило, а вещало: и Владимир, и Фролов, и, особенно, — «тракторист».

Самому мне едва исполнилось семнадцать. Я мечтал о «большой журналистской карьере» — по-моему, именно тогда вышел герасимовский фильм «Журналист», в котором все восхищались желеобразной провинциалкой Теличкиной, а я — исключительно главным героем, а конкретнее тем, как он сумел из заурядных спецкоров сразу перескочить аж в Париж: лишь много позже, уже сам отправляя писучую, или не совсем, свойскую, или, чаще, «соседскую» щелкоперую братию по Нью-Йоркам — Парижам, я соображу, что это было совершенно невозможно и даже немислимо — и больше всего не любил протирать штаны в редакции. В том числе и за обрубками, наподобие трактористовых, которые мне приходилось в меру собственного, прямо скажем, небогатого тогдашнего разумения, подстругивать и подслюнявливать. Поэтому при первом же удобном случае старался выбираться куда-нибудь «в район» — тем более что уже пописывал и в краевую молодежную газету (где над моими заскоружными «заметками» тоже, наверное, корячился какой-нибудь тамошний, теперь уже краевой, си-

дчий карьерист) — именно с краевой молодежкой по младости лет и связывал надежды на «выезд», которые мне, увы, так и не удалось осуществить в своей жизни; выезд теперь остался только один, и то вылет, теперь уже на самые высокие и самые иноземные «верха». Добирался чаще всего на попутках, иногда же меня забрасывали «на места» либо на редакционном газике, либо на мотоцикле, который тоже имелся в распоряжении районки, но приписан почему-то не к сельскому отделу, по которому числился и я, а к промышленному, хотя вся «промышленность» кучковалась почти исключительно в самом райцентре, в трех шагах от редакции. К тому времени я уже сдал в военкомате экзамен на мотоциклиста, но «промышленник», одессит Леша Никифоров, чья фамилия была почти что как «Фролов», но внешность ей совершенно не соответствовала, тщательно оберегал свой «Иж» от моих поползновений.

Так в очередной раз оказавшись в пригородной нашей Прасковее, я попросил секретаря парткома совхоза — в более серьезные кабинеты районщины моего масштаба обычно не допускались — познакомить меня с «трактористом Фроловым».

Оказывается, его тут знали как местную достопримечательность.

— О, — улыбнулся парторг, — мы с тобой как раз едем в четвертое отделение, в Катасон. Там его и увидишь.

В местечке с еврейским именем Катасон резали виноград: парторг знал, куда возить районных публицистов ленинской школы.

Под виноградными кустами, вытянувшись по салмаку длинными шпалерами, сидели на корточках, как будто не резали, а доили, молоденькие женщины в косынках, повязанных сзади наподобие нынешних бандан, но с оголенными, загорелыми и вполне зрелыми полными плечами, сами уже подлежащие немедленной срезке. Парторг нарочито бодро здоровался с ними, они отвечали ему насмешливыми взглядами, обращенными, правда, не столько на партбосса, сколько на меня, юного, тощего и еще способного, в отличие от обыкновенной жерди, вишнево краснеть.

Спеть.

В междурядьях сновал игрушечный тракторишко с нацепленной спереди железной тележкой, похожий на крепко беременную козьявку. Женщины весело опрокидывали, выпрастывали в телегу ведра с виноградом и кричали кому-то невидимому за спинкой сиденья:

— Запиши!

Парторг махнул рукой, и тракторишко, вихляя, попятился задом к нам. Газанул, тормознул, и с



его сидушки спрыгнул такой же игрушечный, как и трактор, человек. Маленький, тщедушный, но весь очень складненький и соразмерный, в том числе и своему облезлому насекомому, и тесным этим, заляпаным сладкими виноградными кляксами, как межстрочья тетрадки в линейчку, междурядьям: в садах, рослых и буйных, тролли, наверное, полномерны, а вот в огородах и виноградниках, видимо, такие вот. Мини. Складненькие, тощенькие, ласково обструганные со всех сторон.

Есть солдаты семилетки и даже солдатки, роскошные, обоюдовыпуклые, почти брюлловские (такие и в райском саду вкусят запретного, греховного плода сперва с самого Адама и только потом с райского дерева). А есть и такие вот — солдатки. Не оловянные, правда, а скорее деревянные. Фанерные. Даже не рубанком-фуганком сработанные, а лобзиком выпиленные.

— Здравствуйте, — виновато протянул замурзанную и, наверное, сладкую от засохшей виноградной крови руку.

Ладонь тоже маленькая, по хозяину скрупулезно выточенная — ты как будто бы поймал не саму птичку, а только ее трепещущий хвостик.

Позже я узнаю, почему он протягивал руку так, словно просил — не то подаяния, не то прощения. Оказывается, несколькими днями раньше ему было велено отвезти в Георгиевск, на базар, совхозные помидоры и трех торговков, тоже, наверное, брюлловских, а то и рубенсовских статей. От Прасковей до Георгиевска километров сорок, представляю, сколько же шкандыбали они до места назначения. Но — не доползли. На каком-то косогоре, возле моста через речку Куму, на одном из передних колес (лапок) у гужевого насекомого наворачнулась цапфа — взял свое, видимо, спаренный вес торговков и помидоров, — и тракторишко клюнул с размаху носом. Помидоры покатались в Куму, бабы же, кубарем, съехали на помидорах. Но до речки, слава богу, не добрались. Не достигли, разметало по косогору.

Юбки у баб заворотились аж до самых макушек, обнажив такие ядреные, многопудовые, хоть и цвета, фисташкового, сельповских рейтуз, двудольные тыквы, что мимо проезжающая шоферня мало что истошно засигналила, но еще и из кабинок поспешно вываливаться стала.

Бабы б, приходя в себя, может, и полежать бы еще, как призовые особи на Всесоюзной выставке сельхоздостижений, на всеобщем обозрении, да Володя, сам еще белый, как полотно, уже обходительно обходил их, временно обездвиженных, по одной, старательно обдергивая на каждой как ее наружное, верхнее, так и ейное исподнее.

— Побить меня хотели, но одна промахнулась, а другие уже и не стали, — рассказывал он мне, годы и годы спустя, печально улыбаясь.

Само собой: попробуй комара на стенке кулаком прихлопнуть — наверняка промажешь.

Белый, как полотно, — это не со страха за самого себя. Клянусь честью: этот самоходный человек почему-то никогда и никого не боялся. Таких фаталистов, как он, я в жизни больше никогда не встречал.

Я тоже пожал совершенно нетрудовую пясть странного тракториста и в тот же миг понял: этого надо выручать.

Выдергивать из семилетки.

Не ровен час, растает. Такая кроха, щепоть полупрозрачной материи в таком не соответствующем ей горниле.

Путь из трактористов в районные стрекулисты, при моем посредничестве, оказался не таким долгим и трудным. Потому как вскоре выяснилось, что Володя раньше несколько месяцев уже работал у себя на родине, на Тамбовщине, в Инжавинской районке. Отсюда и несколько подозрительная для тракториста осведомленность в жанрах: «заметка» и т. д. и даже характерные для газетчиков знаки абзаца на выданных из школьной тетрадки листках. Профессиональных журналистов в районках тогда практически не было. Я застал времена, когда в районных газетах сплошь и рядом работали вчерашние десятиклассники, а вчерашние десятиклассницы совершенно свободно высказывали замуж аж за редакторов районки. Вчерашних фронтовиков. Редакторы пятидесятых-шестидесятых, во всяком случае в глубинке, были смелее своих предшественников аж на целую войну, а десятиклассницы всех времен — это особенная разновидность человечества, смелее них только сама Ева.

Еще и в силу этого феноменального соития районные газеты моей юности писали не о жизни, которая была, а о жизни, которой и быть не могло.

Так она, если судить по районкам, да и не только по ним, была прекрасна.

По-над жизнью.

Как и сегодня.

Только сегодня такое письмо — особо азартной, а не только старательной гладью вышивает

телевидение, поскольку глаз вообще доверчивее ума, — жестко, как подстрочником, продиктовано деньгами. Тогда же оно, помимо прочего, выливалось, как выливают страх, запоздалыми слезами прошедшей войны.

Ставшими уже почти что слезами счастья.

* * *

Я не пишу его жизнеописание. Я просто пытаюсь сказать, что такие люди по-хорошему умирать вообще не должны бы.

Хотя бы раньше таких, как я.

И тому есть несколько действительно веских резонов.

Этот человек никому не отказал ни в единой просьбе. Он вообще был не способен отказывать и отказываться.

Через комнатку в московской малосемейке, которую он когда-то с великими трудами заполучил, прошли его и мои (это практически одно и то же) друзья и родственники, которым как-то надо было зацепиться в Первопрестольной. И вовсе не потому, что я, будучи некогда в серьезных чинах, помог ему с этой «жилплощадью», на которой и жить-то могло только такое эфемерное существо, соразмерное комнатке, как он сам. Жили годами! — он приводил сюда людей точно так, как другие из жалости приводят домой бездомных собак или кошек: их почему-то вообще жалеют больше, чем собственно людей.

Он безропотно женился на чужих женах — по просьбе их первоначальных и вполне законных мужей. Причем исключительно по любви — к человечеству. Поскольку первоначальным мужьям и их семьям, потому как они беженцы из наших ныне сопредельных стран, а некогда просто советских провинций, дабы зацепиться-таки хоть где-то в России, надо было кем-то из супругов сперва «прописаться» в каком-либо из ее, России, провинций, углов. А какая же прописка без «расписки»? Вот и оседали они, наши с ним общие (чаще, правда, все-таки переданные ему мною) друзья, направленные некогда нашей общей тогдашней властью в школы или больницы, а то и просто на отдаленные стройки коммунизма (в СССР, в отличие от других империй, коммунизм почему-то на национальных окраинах начинался раньше, чем в метрополии), а теперь с треском изгнанные окраинными титульными нациями вон, не где-нибудь, а прямоком в Москве.

Потому что такой чудак, способный абсолютно — подчеркиваю! — бескорыстно расписаться, чтобы прописать, был у нас на былых имперских

просторах один-единственный и «проживал», как проживает огонек в лампадке, в Москве.

Никакими услугами чужих жен он не пользовался, да и они и в самом деле у него, на его лампадковой жилплощади, только «проживали», а жили, плотно и непосредственно, со своими мужьями. Как правило, на съемных квартирах. Будучи, правда, законно разведенными и состоящими в подзаконном браке с Володей. Некоторые из разведенных мужей на годы и годы забывали благоверных на чужих квадратных сантиметрах. Именно так в свое время вызволили мы из Абхазии нашего общего друга Колю Кошелева, который, будучи изначально очень взыскуемым — и абхазами, и грузинами, и, конечно же, русскими, — детским сухумским врачом, после, в годы грузино-абхазской войны, лечил по старинке, по-свойски и побеждающих, и побеждаемых, за что, когда победители таки окончательно определились, и поплатился жестоко.

Вызволить-то вызволили, да только годы спустя поехал все-таки Коля наш в обратный путь, к месту своего первоначального, после Второго Московского меда, медицинского распределения.

В глиняном, глиною же запечатанном кувшинчике, но не вином даже, а хладным пеплом.

Этот хоттабычевский кувшинчик и есть теперь его единственное персональное, постоянное жилье. Куда, помыкавшись годы и годы, так и переселился он в одночасье со съемной — все-таки съемной! — московской квартиры.

Москва почти по-матерински принимает абитуриентов, но к выпускникам своим строга, как махеча.

А несколько лет назад забрела в малосемейку — если пересчитать всех, прошедших через нее за десятки лет, то семейка-то как раз получится ого-го! — нищенка. С младенцем на руках. Русская. Бывшая детдомовка. Не знаю, что уж тут сыграло решающую роль: то, что русская, молодая, что детдомовка, — Володе тоже памятно его тамбовское детдомовское прошлое, — или нищенка оказалась столь талантлива в просьбах своих, но из малосемейки она уже не исчезла. Задержалась, обернувшись сперва законной женой, а теперь вот уже и законной вдовой.

Слова нашла!

Правда, сейчас мне кажется, что самой действенной оказалась просьба, что в словах и не нуждалась. Та, которую вычитал, выглядел безотказный малосемейный хозяин в младенческих полуголодных глазах.

Нищенка-то русская, а малышка ее оказалась при ближайшем рассмотрении русской лишь на-

половину: попутный — беспутный отец, как выяснилось позже, принадлежал к узбекской нации.

Может, и глаза потому бессловесные, но такие, как у Магдалины, безотказно горячие?

Нищенка обернулась женою, крохотная безотцовщина — законной, «усыновленной» дочерью.

А до того, к слову сказать, ни та ни другая российский гражданства тоже не имели. И вообще никакого.

Не только мать, но и узбечка получили фамилию — Фролова. Да тут неожиданно народилась и еще одна, теперь уже натуральная Фролова, белобрысая и ясноглазая — ее как будто бы и не из нищенки вынули, выпростали, а, аки русскую душу, из самого былого, малосемейного.

Скажите, да разве мог Господь после этого забрать, «забрить» его? А он и забрал и забрил-таки, едва младшая пошла в первый класс. (Это при том, что отцу стукнуло семьдесят!) Не потому ли и забрал? — чтоб перед глазами был.

Забрал, хотя у них — с Господом — очень личные отношения.

Более набожного человека, чем Володя, я в своей жизни не знал.

Как и более спорящего со Всевышним.

* * *

Воцерковлен он с малолетства. Одна из его теток вообще еще в девичестве ушла в монастырь и прожила там до глубокой старости. Мать, которую я тоже знал, также была весьма богобоязненна. Худенькая, дробненькая — есть целые, цельные люди, а есть и дробь от них, — почти прозрачная, в беленьком ситчике, домиком повязанном на голове, она напоминала мне и мою собственную мать. Напоминала, хотя матушка моя при общей своей невеликости все же была сильной, резвой и даже резкой — в повседневных своих трудах. Как бывают рабочими пчелы, а вот небесными, воздушными — мотыльки. Моя была бабой, а Володина — бабочкой. И все равно я смотрел на нее и видел матушку собственную. Может, потому что именно такой она и должна была стать в старости: Володиной матери, когда я с ней познакомился, было уже за семьдесят, моя же умерла в сорок пять, старухой я ее и не повидал. Но скорее по другой причине. Я-то знал, хоть и был еще мальчиком, что это руки-ноги у мамы резкие и резвые, а душа-то у нее все равно робкая, застенчивая, пугливая, на что в роду нашем есть свои стародавние причины. Я смотрел на Володину матушку, робко улавливавшую за столом малейшие дуновения нашего с ним разговора, и видел — родную душу

собственной матери. Точно так, как из Володи, доселе несокрушимо бездетного — может, еще и потому, что жены были хоть и законными, но чужими, — на старости лет неожиданно-негаданно вылупилась, выпорхнула вдруг, как его же младенческая душа, девочка-свечечка (чертами очень похожая на его мать), так и для меня в его матери увиделась, слюдяными крылышками дрогнула не сама моя мать, а ожившая вдруг ее душа.

В принципе нимб стоит над каждым из нас, вне степени святости или святотатства. Но не каждому дано его увидеть. Я же в данном случае увидел — робко мерцающий издали нимб моей матери в совершенно чужой и непохожей на нее старушке.

Володю смаличку ввели в церковь. (Меня всегда восхищало, что кошке, например, в церковь нельзя, а вот осляти, даже если он уже и не везет на себе божественного младенца, — всегда пожалуйста.) Отца он не знал: первый, законный муж матери погиб на фронте, а прижила она его, вдовой, от другого, случайного мужчины, по легенде даже поволжского немца по фамилии Инструменталь. (Добыть комнатенку мне удалось, самовольно приписав Володю к героическому фронтовику, который на самом деле погиб в сорок первом, не успев ничего, никого посеять в юной своей супружнице.) Немец ушел, не дождавшись плода, причем ушел к другой вдове, у которой в положенные сроки тоже родилось — теперь девочка, — видимо, инструмент оказался действительно безотказный и в тот, сорок третий-четвертый год, более чем востребованный.

Инструменталь, думаю, остался жив и насущно производителен и потому, что немцев, даже поволжских, на фронт старались не брать, и еще главнее — потому как был, говорят, непревзойденный бухгалтер. В лихолетья бухгалтеры вообще самая бронированная нация: чем дешевле деньги, тем в большей цене кудесники дебетакредита.

Еще и в силу этой брошенности семья, катастрофически неполная, настоящая, не бюрократическая малосемейка, прильнула к Богу: нет отца с малой, нашли с прописной. Тетя же, надо сказать, ушла в монастырь еще в тридцатые, в самое что ни на есть атеистическое время. Попав в детский дом, оловянный крестик Володя ни на звездочку, ни на красный галстук, ни даже на комсомольский значок не поменял и от церкви так и не отказался до конца своих дней. Его духовником все эти годы оставался местный батюшка: в девяносто он отошел от дел и вскоре почил в бозе при Троице-Сергиевой лавре. Это он прочил когда-то Володе

архиерейское будущее. И он же, когда юноша все же пошел по светско-советскому пути (на экономический факультет МГУ, который окончил в свое время с красным дипломом), напророчил, что подопечный его еще понесет за сие кару.

Возможно, помня сие, Володя ни дня и не работал экономистом и к ученым издевательствам над страной в девяностых и присно никакого отношения не имел. Работал в то время дворником у Любимова на Таганке, у Хренникова в Доме композиторов.

Дворник с красным дипломом экономиста во времена, когда «экономная» стала просто политэкономией! — да таких надо в Красную книгу, а не на погост!

* * *

В последние десятилетия мы с ним жили довольно тесно — я ведь тоже стал почти что дворником — я помогал ему, он помогал мне. И я доподлинно знаю, что он свято, до изнурения держал посты; ночуя у меня на даче, ходил на все службы (включая заутрени) в старинную, семнадцатого века, церковь, ныне подворье Новодевичьего, что лежит километрах в трех от меня. Исповедовался, приносил просфоры.

Порою оказывался на службах один: деревеньки окрест вымерли, а дачники приобщаются либо по праздникам, в нетвердой трезвости, либо пригоняя — в лучшие, чем сейчас, времена, — новообретенные машины: «освятить».

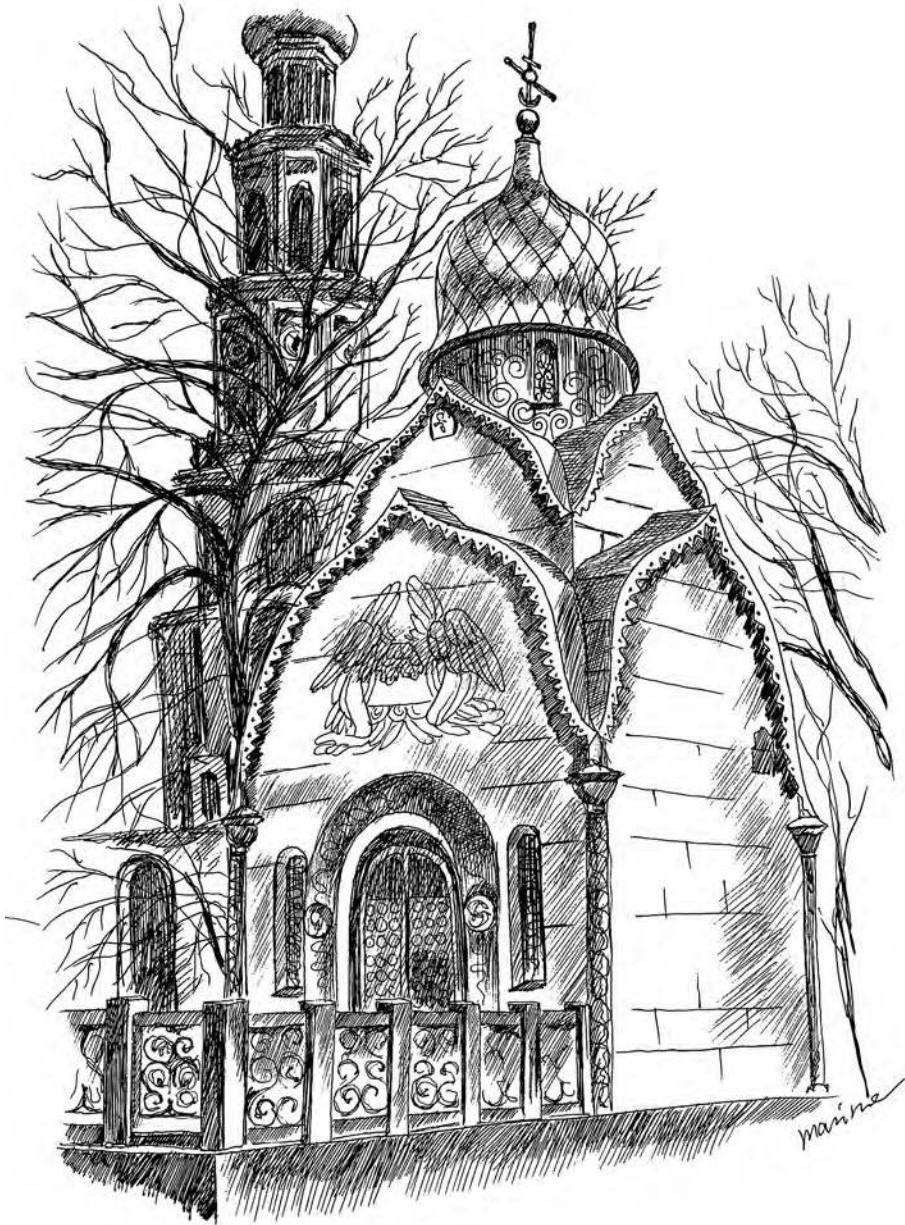
Читал у меня священные тексты, чаще вслух. Отпевал, по моей просьбе, тех, кого отпевать было некому, а точнее — не на что.

Да, чуть не забыл: дворник дворником, но он умудрился подворничать и при издательском отделе Московской патриархии во времена, когда отделом этим командовал тогда ныне покойный митрополит Питирим.

Удивительно, но глубокая и даже истовая религиозность в нем сочеталась и с элементами богоборчества. Что, впрочем, присуще отдельным подвижникам веры, в том числе и выдающимся, особенно среди русских людей, склонных не только к самокопанию, но и к копанию в Самом. И даже — под Самого.

Спорил он, правда, чаще не с текстами, а с практикой. Проще говоря, с действительностью. Если она движется по высшему промыслу, то почему же в ней столько жестокости?

И отваживался упрекать в этом Господа Бога и даже ставить под сомнение его существование. (А по-моему, к Последнему неприложимо и само



это понятие — существования; ничего сущего, объективного тут и быть не может!)

Я слабо возражал ему: мол, божественное во все не равнозначно нравственному. Уже хотя бы потому, что не поддается никаким человеческим измерениям, иначе было бы не божественным, а человеческим. Божественное не обязано подлаживаться к нам, идет своими незаповеданными ходами и очень часто — вразрез с нашими представлениями о добре и зле. Это мы — сущие, а Оно по существу (!) — пустота, холодная, отстраненная, отрешенно делающая грозное свое дело, лишь иногда, случайно, пересекающаяся или попадаю-

щая в резонанс с нашими нравственными категориями.

К слугам и, особенно, к служкам божьим относился куда снисходительнее, чем к самому Вседержителю. На мои кое-какие инвективы, сиюминутные, на их счет отвечал старинными словами Иисуса:

— Судите их не по их делам, а по их словам...

Слуг защищал — Сыном.

Ну да, на слова-то мы все горазды, даже не совсем слуги.

Засыпали далеко за полночь. Наутро, спозаранок, он бежал мелкой мышью побегом три

километра в церковь — видимо, отмаливать вчерашнее, а я дрых почти что праведником.

Между прочим, та самая монахиня в их роду, о которой я уже упоминал, предчувствуя кончину, ушла из монастыря и умирала в их же деревенской избе. А умирая, возвестила сгрудившимся вокруг односельчанам — как же, почти своя святая представляется! — что Бога — нету!

Так и прохрипела.

Односельчане переглянулись и молча, но дружно решили: бабка спятила.

И похоронить-таки похоронили за церковной оградой.

Может, и ересь тоже у них в роду?

* * *

Впрочем, отправляясь на операцию, Володя захватил с собой иконку. А уходя уже «на стол», позвонил, как я уже упоминал, мне — житейская его просьба была связана с малолетними детками.

С этой же иконкою мы его и положили. В гроб, чтоб потом, перед последним спуском, все же изъять ее из его окостеневших пальцев: в могилу иконки уже не опускают.

Я, прощаясь, смотрел на него и увидел очевидное преображение.

Суровое преображение: возможно, он все продолжал спор, и не только со мной?

При жизни черты его были мелкие, очень пропорциональные, аккуратные, соразмерные общему почти птичьему сложению. Можно было ожидать, что они просто заостряются и помельчают еще больше. Вовсе нет! Стали крупнее, рельефнее — подобной строгости, суровости, аскезы я не видал на его лице за все полвека нашей дружбы. Тяжелый лоб высунулся из-под седых прядей, мощные надбровья, плотно сжатые губы — да Володя ли это? На людях вечно тихий, робкий и почти безгласный? Что-то толстовское проглянуло, вылезло в нем. Но не то, что было в его, Толстого, умиротворяющих, примиряющих все и вся последних экзерсисах, а то, что сказалось в старости в самом его матером облике.

«Волчье» — говорили об этом его позднем лице современники. Так и в тамбовском моем уроженце, в посмертном его обличье при общей хрупкости остального, серым костюмчиком скрытого, выпер «тамбовский волк».

Который известно кому, то есть мне, грешному, товарищ.

Сурово, сурово предстанут они друг перед другом. И еще неизвестно, кто перед кем будет держать ответ: двух малых сих, безответных и

беззащитных, оставил Владимир здесь, за спиной, в бедности и земной юдоли.

Да, сообразил, Толстого я, разумеется, не видал. А вот Володиного дядьку, Василия, знал неплохо. Шebutной, размашистый старикан, не было на свете ничего сущего, что бы он не мог сделать или — переделать. Правда, все — резко, с размаху, наскорях, не фуганком, а топором. Не надфилем, а терпугом. Отважный до сумасбродства, до одури, особенно после известного чего. Ветеран корейской войны — оказывается, наши подвизались там не только в небе, но и на земле. Рассказывал, как ворвались однажды в банк (прямо по ленинской формуле: почта, телеграф, банк), и он, дядя Вася, оказался по колено в деньгах.

Прямо сугробы, вороха их намело по полям и углам.

— Надо бечь дальше, а я двинуться не могу: сую их за пазуху, в карманы, в мотню, а зачем, и сам не знаю. Они ж не наши, Ленина на них нету, а я как ополоумел...

Ну да, поставь любого русского мужика посреди такого несметья деньжищ, даже без Ленина (ничего другого он прочитать не мог, а вот отсутствие Ильича заприметил сразу), и враз ополоумет и куда более трезвый и положительный, чем дядя Вася.

А деньги ему таки пригодились. Дядя Вася мог, конечно, и подзалить, но под рюмочку однажды признался, что где-то там, аж на полуострове его шальной и шалавой молодости, растет да, наверное, уже и старится, и его русско-корейское семя. Было, было кому дяде Васе сунуть за пазуху, совсем не столь холостую, как у него самого, эти самые вонь или как их там, даже без Ленина. В той войне, как и во всякой другой, наши елозили, выходит, не только по небесам, не только по земле, но и по кой-чему куда более притягательному, безопасному и покладистому.

Давние-давние черты дяди Васи, прокаленные, обожженные, как обжигают даже не горшки, а кирпичи — и такого же, кирпичного, цвета и даже геометрии схожей — и чужой войною и собственной старостью, по-волчьи твердые и суровые, узнал я в друге моем Володе на скромном и смертном его одре. Когда солнечным, бабьего лета, днем прощались мы с ним на окраине огромного подмосковного кладбища с жутковатым, крематорским наименованием «Перепечино» среди неглубоких и наспех вырытых экскаватором могилок.

Гробы к которым подвозили, подавали с почти что регулярностью московской подземки.

Фамилия у дяди Васи Мильцын. Он тоже происходил из екатерининских немцев — на корейскую, что последовала почти что впритык к германо-японской, уже брали и их...

Насчет корейского романа дядя Вася мог, конечно, и травануть. А вот другой, последний, куда достовернее. В старости работал истопником в одном дряхленьком замоскворецком особнячке в районе Пятницкой. Располагалась там какая-то фирмешка типа «Гербалайф», которой командовала тоже значительно пожилая (подразумеваю особняк, а не дядю Васю), но весьма дородная, даже не цельная, а цельнолитая мать-командирша. Не знаю, как уж высмотрела она в подвале, да еще и в замурзанном кочегарском ватнике, дядю Васю, но у них действительно завязался роман, довольно бурный и громогласный — вечерние отголоски его пронзали «Гербалайф» на все три этажа, аж до самого потолка. Так в последние свои годы дядя Вася в меру ветеранских сил снабжал — снизу — теплом сразу две московские архитектурные достопримечательности: одну каменную, а другую — вовсе нет.

* * *

Уходим. Уходим. Уходим... Пока писал этот кусок, пришло известие из Ставрополя. Умер еще один друг моей молодости: Николай Марьевский. Аристократ если и не журналистики в целом, то как минимум нашей когдатешней молодежной редакции. О нем я часто писал в своих книгах и больше всего в этой, в предыдущих ее главах. Один из тех, кто тоже бескорыстно выводил меня когда-то если и не в люди, то просто — в другую жизнь.

Царствие небесное, вечный покой, как, завершая молитву, очень естественно, тихо и скорбно произносил над очередной открытой могилой Володя Фролов...

Теряю их физически, натурально. За всю свою скудельную жизнь не припомню никого из друзей и даже подруг, кто бы предал меня, сдал, отвернулся, забыл окончательно и бесповоротно. Это я бывал и бываю подчас не совсем состоятелен, необязателен в дружбах и привязанностях; они же, друзья мои, даже уходят — лицом ко мне.

Царствие им небесное. Вечный покой.

Р. С. Не только с иконкой уходил Володя на стол, но и с тремя тысячами в кармане. Когда делали первую операцию, я ему передал «на всякий случай» пять тысяч рублей. Врачу понравилось, хотя денежка, конечно же, плевая. И перед второй

операцией он, врач, намекнул моему дружку: ну, ты и на сей раз приди не с пустыми руками... Володя позвонил мне: мол, у меня наскреблось только три тысячи. Я же был в какой-то очередной запарке и грубо буркнул:

— Скажи ему: как только ты живым слезешь со стола, я либо сам привезу пятерку, либо с братом пришлю...

И положил трубку.

Увы, живым его со стола уже не сняли.

Мне до сих пор не по себе. Может, вовремя сунь я эту «пятихатку», и наше бесплатная оказалась бы милосерднее к моему безвестному другу?

А так получается, что почти что накликал. Осторожнее будьте к друзьям со словами — судить, самих себя, впоследствии и впрямь придется не только по делам, но и по словам тоже.

Уходим... Куда?

Да в никуда.

Но чуточная надежда все-таки есть. Теплится.

Тот же Коля Марьевский как-то рассказывал мне. Он даже пробовал написать об этом, но на письме, по-моему, у него получалось хуже, чем на словах. Я попытаюсь пересказать. Возможно, у меня тоже получится неадекватно. Но Коли-то уже нет. И ежели я этого не расскажу, то уже не расскажет и не опишет никто. Ни в какой степени адекватности. Именно адекватности, а не достоверности. Ибо факт, любой, — это еще вовсе не правда. Правда всегда объемнее факта и чувственнее его.

Лет шести, спасаясь от немцев, Коля вместе с матерью и кем-то младшим (боюсь ошибиться: братом? сестрою?) шел-бежал из Дебальцева, что под Донецком и что сейчас так — снова! — трагически известно, куда глаза глядят. Впрочем, глаза и глазенки в данном случае смотрели вполне определенно: подале от немчуры. И так, определяемая почти неуправляемой (инстинктом? роком?) и все мелеющей и мелеющей после каждого чернокрестового налета волной беженцев (Господи, как вчуже странно, точнее отстраненно, звучало для нас это слово где-то в семидесятых и как въяве, осязаемо и грозно звучит сегодня!), легла дорога, карта легла, что путь определила — на Ставрополье. Они с матерью (впрочем, он, шестилетний, тут вообще был щепкой, которой злобно играли и волна, и судьба) и не стремились туда. Стремилась, выскальзывали, выдавливались поклеточно исключительно из-под войны, из-под ее губительного, всеподавляющего и кровавого катка, а получилось сюда, на Ставрополье. Аж до Невинномысска, минуя тот же большой Ростов, который

под войною оказался, поскольку промышленный центр, куда более плотно и страшно, чем степное, реденькое, незавидное Ставрополье. Мать впрягалась в повозку, в которой находился, умещался весь их наспех спасенный, спасаемый и даже без налетов скудеющий и скудеющий птичий скарб. На скарбе, с каждым десятком километров опускаясь все ниже и ниже, качалась люлечка с ребеночком (сестричка? братец?), что сам мерцал уже, как призрачный язычок в замирающей лампадке. Коля брел, окровавливая босые, сбитые ножонки и ухватясь то за бортик тележки, то за материну юбку. Ночевали в степи — самым сытым и был ребенок, оклуночек, который еще пользовался иссыхающей материнской грудью — в оврагах и балках, чтоб, значит, аэропланы не заметили... После, уже в старости, по карте, Николай высчитал, вымерил: 800 километров с гаком! Впроголодь, пешком да ползком.

Каждый кустик ночевать пустит. И каждый кушочек найдет куточек.

«Ребенка видать в пеленках...» — тоже старинная русская поговорка.

Да, ели что бог пошлет, что добры люди попутно бросят, да то, что умели выменять на домашнее жалкое барахлишко: потому и оседал возок, как верблюжий голодный горб в пустыне. С себя продать-обменять уже было нечего: даже пеленки превратились в лохмотья.

Но мать — довела. Донесла, дотащила, достремилла — через три месяца! — как доносит до

гнезда та же птица неразумное и нелетающее еще, бескрылое свое до гнезда. До более или менее безопасного, отбитого у войны, местечка на земле: до Невинки.

И, признавался мне Коля в старости, более счастливого, чем тот, страдный, крестный путь, он в жизни своей не знал.

Голодный, холодный, иссекаемый дождем и свинцом, но — с живой еще матерью! Рука в руке. За юбку, за повозку, но — рука в руке.

С матерью! Мне кажется, мнится и теплится: он и сейчас, повстречав ее где-то на Млечном теперь уже Пути, так же вот и бредет — рука в руке.

Она, матушка родненькая, рано или поздно и приведет его в небесный их Невинномысск, что уже в 41-м и впрямь казался раем для дебальцевских.

Николай говорил, правда, не «Дебальцево», а почему-то — «Дыбальцево». Видимо, украинская диффузия. Она полякам сродственна.

Дебальцево. Из которого вновь наверняка — ухватившись за материнскую юбку — выходит сегодня белобрысый малыш, вполне возможно, по имени Коля, в свой новый и страдный (как страшно все в жизни повторяется!) крестный путь.

Который когда-то, перед смертью, сам он и сочтет, возможно, самым счастливым в своей, надеюсь, долгой жизни.

Уходим? Приходим?

Меняем пути — с маленькой буквы на прописную. С земного — на Млечный.

Возможно, последует продолжение.